

**Марина  
МАСЛОВА**

г. Курск

# Солнечный ветер

Когда солнечный ветер покидает Солнце, он несёт заряженные частицы и магнитные поля. Часть солнечного ветра попадает и на нашу планету.

**Энциклопедия**

С книгой Игоря Шкляревского «Избранное», положившей начало этим запискам, довелось познакомиться почти случайно и о ней нес терпимо захотелось всем рассказать. Написала эссе «Человек – одинокий до звёзд», потом – «Славный зверюга» (о переводе Шкляревским «Песни о зубре»). Публикации моих работ стали поводом к непосредственному общению. Из наших телефонных разговоров и сложился сегодня этот портрет в нескольких штрихах, который когда-нибудь, возможно, будет дорисован с помощью чудесной палитры его художественного наследия, а пока это лишь малая дань благодарности поэту за краткие мгновения нашей лирической дружбы...

Личное знакомство с поэтом произошло 25 июня 2018 года, в день его рождения. На сайте «День литературы» уже неделю висела моя ра-

бота о нём, Игорь Иванович об этом знал. Мы стали перезваниваться чуть ли не каждый день. Игорь Иванович чаще звонил сам, я иногда набирала его номер, если казалось, что он слишком долго молчит.

Живу я на северной окраине города, в «ближайшем к Москве» недавно застроенном микрорайоне Курска, где даже топонимы свидетельствуют о новизне не столь давно обжитого пространства. Одна из улиц называется Новомосковской. Судя по всему, у так её называющих оказалась невольная тяга к столице. Да ведь и впрямь кажется, что главный проспект наш, проспект Победы, заставленный танками и вертолётами на радость восторженной детворе, так и тянется прямёхонько до самой Москвы. Всего-то пятьсот километров...

С моего излюбленного места в саду, если встать на огромный дубовый пенёк, почерневший от дождей и железного купороса, мне виден купол храма святого Георгия Победоносца, увенчанный золотистым крестом, и – если ещё приподняться на цыпочки – вознесённая над прос-

пектом Победы величавая бронзовая глава маршала Жукова.

Игорь Шкляревский рассказывал, что можно видеть из окна его квартиры на Патриарших прудах, а я, оглянувшись вокруг, описывала ему приметы своего жизненного пространства. Так мы становились ближе и даже как бы ходили друг к другу в гости. Он нуждался в общении (о чём нетрудно было догадаться по частым звонкам), я – что греха таить – нуждалась в его поощрении, похвале. Он был необыкновенно щедр и на душевные комплименты, и на всяческие откровения о жизни, о поэзии, о человеческих страстях, нередко разрушающих дружбу и судьбу...

Когда он начинал рассказывать что-нибудь горькое, трагическое, я вскакивала с бревна, возбуждённо ходила по саду, стараясь унять волнение. Оно было не только от его голоса, печального и вдохновенного, вопреки возрасту и болезням. Но ещё от досады, что не успеваю всё это вместить. Ведь нельзя было записать, даже, может, нельзя и запомнить, только выслушать и тут же забыть, как забывает исповедник после церковного таинства чужую исповедь...

Сейчас, благодарно оглядываясь в то лето, вспоминаю, что осознала тогда и величие происходящего, и его трагическую мимолётность. Понималось, что эти минуты нашего общения нужны не для будущей литературы... Я была в те минуты ушами слушающими и сердцем внимающим, пытаюсь воспринять дыхание... времени? вечности? Не знаю... Но вневременность происходящего чем-то давала о себе знать... какой-то ускользающей тонкой мелодией, разлитой в воздухе до самого дальнего леса и неба... и того чистого горизонта, который уже совсем скоро откроется нам в книге поэтической прозы Игоря Шкляревского – «Книге белых ночей и пустых горизонтов». Может, в разговорах со мной он испытывал это загадочное воздействие своей будущей книги... Он ведь знал её наизусть, как и все свои прежние тексты, все стихи и лирическую свою прозу. На любой мой вопрос он мог ответить своими стихами, и отвечал, затопляя меня волною этих волшебных ритмических созвучий... А я плескалась ненасытно, радостно, взхлёб, заранее понимая, что щедрости этой есть предел. И ещё есть обыкновенная земная усталость, когда душа утомляется и радостью, и печалью, всем сразу, когда настагает её потребность внутреннего молчания...

## ДУША, КАК МОКРАЯ СОБАКА...

...Игорь Иванович чем-то пошуршал в телефоне, видимо устраиваясь поудобнее в кресле, и говорит:

– Ну вот, я нашёл себе местечко на сквоньяке, взял сигарету, начнём... Нет, подождите... Вы же, кажется, в семинарии преподаёте?.. Так не пойдёт... Я вам сейчас перезвоню...

Пытаюсь возразить, что вполне могу себе позволить... что он не должен об этом беспокоиться... Но он не стал дослушивать возражения, прервал связь, и пока я нерешительно смотрела на свой мобильник – нажать снова кнопку вызова или всё-таки смириться с его настойчивостью? – Игорь Иванович уже «засветился» на дисплее, и я, робея от предстоящего, ткнула пальчиком рядом со словом «Шкляревский».

– Какая приятная у вас мелодия... Это «Лебединое озеро»?

– Не знаю, – растерялась я, – никогда сама не слышала...

– А вы позвоните себе, – улыбающимся голосом говорит Шкляревский, – с чужого телефона... и послушайте...

Потом он ещё чем-то шуршит в трубке, прокашливается и снова удовлетворённо произносит:

– Ну, я готов. Начинайте.

И я читаю ему своё эссе.

\* \* \*

Игорь Шкляревский...

Был в жизни момент, когда благодарно приняла его поэзию, она не только перевернула всё во мне когда-то, но и спасла от лютого уныния, вытеснила его, вселилась вместо него в мою душу и жила там несколько лет, умиротворяя, приводя всё в ней в гармонию... Затопляла волна трогательного «собачьего» сочувствия, родства, когда читала его строчки:

*Душа, как мокрая собака,  
На свет далёкого окна  
Сквозь все века скулит из мрака...*

Ничего сейчас не помню наизусть у него, а это запечатлелось навечно...

Книжка его «Избранное», подаренная мне преподавателем в студенческие годы, вывела меня из глубочайшего кризиса, однажды случившегося в моей жизни. О причинах его говорить не стану. Но даже прозорливый батюшка в церкви боялся открыть мне всю правду сразу, три года



поддерживая во мне надежду. Потом всё равно сломалась, на него же первого моя обида и обрушилась. Это была Пасха 2013 года. Еле выкарабкалась. Чуть всю жизнь под откос не пустила. Вот в эти дни и попалась нечаянно эта старая книжка в тёмно-синей обложке – Игорь Шкляревский, «Избранное». Думала: вот если сейчас встретится мне здесь что-нибудь фальшивое или слишком счастливое, разрывающее мою душу, сожгу в камине все книги и больше никогда ничего не буду читать!

Так всю книгу и прочитала, задыхаясь от благодарной радости и узнавания... Он нигде не сфальшивил, ни словом, ни строчкой, везде попал в ритм с моей болью, с попыткой надежды... Только чуть завидовала ему, его любви к жизни, к родителям. Казалось, у меня этого не было. Остальное всё узнавала...

Задумала написать о его книге, но, им же и успокоенная, переключилась на другие заботы, отвлеклась. А поэт своё дело спасительное сделал – и тихо отступил. Только эта собака его мокрая в памяти и осталась...

Потом читала про него в интернете, что монахини переписывают его стихи в обителях, душу согревают.

А я, помню, открыла его книгу с уже пожелтевшими страницами и читаю в самом начале, в автобиографии: «Когда и где умру, не знаю, но всегда помню, что умру, и потому у меня много простых радостей».

Думал ли он тогда, что доживёт до 80-ти!

И вот представьте: в мрачном отчаянии, когда свет померк и ничего уже не в радость, вдруг читаешь такое простое: «Я люблю серое небо, мокрый клевер и ворону, растрёпанную ветром...» – Господи! Я же тоже ещё могу всё это любить! Всему этому радоваться! – «Мигающая в сознании мысль о смерти стала благодарностью – облаку, небу, траве...» – О! это было так просто, что я тут же позабыла свою печаль, все обиды, всё горе, тут же захотелось мне жгучей любовью полюбить это облако, небо, траву! И стало страшно, что могла я лишиться себя этого простого земного счастья – небо, трава, облака, деревья, зверушки, птицы! После такого прозрения лето моё было абсолютно счастливым. Детским и безмятежным. Книга эта всегда была со мной, лежала на заднем сиденье авто, никогда я не оставляла её дома, куда бы ни ехала...

Вот тогда, может, и родилась та Марина, которую теперь знают.

А Игорю Ивановичу хотелось рассказать, как

полюбила я Белоруссию благодаря ему. Вернее, детскую любовь свою вспомнила. «Песняры» с их «Белоруссией» и «Беловежской пущей» – это такое ласковое глубокое детство, самые ранние впечатления и потому самые сильные. От них душа летит, улетает радостно куда-то, вслед за голосом поющего, и будто бы даже тело приподнимается над землёй. Это такое чистейшее упоение... И не могу объяснить этого, но будто чувствую какую-то таинственную связь всего: детство своё, «Беловежская пуца» и «Белоруссия» с белым аистом над Полесьем, длинные красные лыжи с надписью «Полесские Телеханы» у школьной подружки, с которой вместе катались с горки... Потом институт, студенческая конференция, мне дарят книгу, автора которой не знаю, никогда не читала... И долго потом не читаю, стоит книга на полке... Вот, ещё помню, в классе шестом литературная композиция, вечер какой-то в школе, мне дали стихи, выучила и помню до сих пор: «...я Ядвига, учительница села, хлебороба хатынского дочь...» Кто бы мог подумать тогда, что я действительно стану учительницей! Мне тогда казалось, что я терпеть не могу учителей... А ведь родители Игоря Шкляревского тоже учителя. А сам он так неожиданно вошёл в мою жизнь своей тёмно-синей книжкой...

Дело не в том, что он о природе напомнил мне, заставил ожить чувства. Он что-то другое, порушенное, помог восстановить в душе...

Сейчас, когда отыскиваю в интернете «Беловежскую пуцу», могу слушать её только в исполнении «Песняров», как тогда, в детстве, а если поёт не Дайнеко, просто не могу воспринимать, противится всё чужому голосу... Только запись семьдесят шестого года запала напрочь, до утренней дрожи, до сладостных слёз...

Так и со стихами Шкляревского...

*Я любил эту голую стену.  
Тополя шелестели в окне,  
И прохладный серебряный невод  
Трепетал на вечерней стене.  
Свет небесный её серебрил.  
Я с разбитым лицом приходил,  
И печальные тени ветвей  
Прикасались нежнее, чем руки.  
И шумели над жизнью моей,  
Над позором, и болью, и мукой.*

...Та же дрожь в грудной клетке, та же «утробная жалость», как признавалась когда-то Марина Цветаева...

Последние четыре строчки – это же какая-то

сверхъестественная сила воздействия! Человек, прочитавший эти строки, никогда не шагнёт с карниза, удержится!

И я тогда удержалась...

И стихи эти остались самыми проникновенными, пронзительными, сильнее всяких других роднящими с поэтом.

Ведь какая удивительная, неожиданная рифмовка! Две строки в середине текста рифмуются, будто две противоположности, стыкующие стихотворение в некой кульминационной точке. Когда читаешь, вспоминаешь сначала какие-то свои ощущения, образы: стена, тополь в окне, тени ветвей на вечерней стене... Всё это и у тебя тоже было... Но когда оказываешься в этом неожиданном «заворе» строк, рифмующихся только друг с другом, будто током встряхивает, и уже чувствуешь себя «внутри» текста, а не в своих воспоминаниях: «Я с разбитым лицом приходил...» А ведь секунды назад ещё была идиллия! Не в образах, нет, но пока ещё в сознании читателя. Идиллии образов здесь не может быть с самого начала, потому что сразу же в первой строке они «конфликтуют»: я любил... голую стену... Какая уж тут идиллия! Тут начало драмы. И текст с самого начала задает тревожный, драматический тон: Я любил эту голую стену. Тополя шелестели в окне... И далее улавливаешься, подобно рыбе, в нежнейшую лирическую сеть этих мистических созвучий: И прохладный серебряный невод трепетал на вечерней стене. Свет небесный её серебрил... Свет, тишина, умиротворение... И вдруг – «я с разбитым лицом приходил». И тяжёлая мужская рифма (серебрил/приходил) – словно удар наотмашь, резкий, неожиданный. Видимо, глагольная рифма тут как раз и нужна для этой резкости удара. Вздрагиваешь – а потом тебя снова убаюкивает нежная мелодия образов: ...и печальные тени ветвей прикасались нежнее, чем руки...

Волшебные строчки, мистические. Воздействуют на подсознание, вопреки воле. Возвращаешься вдруг вспять на десятки лет, оказываешься там, где сейчас этот лирический герой, рядом с ним в этом далёком-далёком прошлом. И любишь его до слёз... Или – нет! – становишься печальной тенью тополя, одной из ветвей... чтобы прикоснуться к его лицу... И печальные тени ветвей прикасались нежнее, чем руки... Сколько трагического в этих строках... Здесь ещё нет одиночества. Это лишь его предчувствие, предощущение. Это пока только горечь первых уроков жизни. Быть может, преувеличенное или даже ничем и не заслуженное чувство «позора», следствие

болезненной шлифовки мужского характера... Может быть, герой пока только подросток... Но тогда какая же бездонная глубина в этой строке...

Есть такие сочетания слов, такие мыслеобразы, от которых хочется рыдать или, как в другом стихотворении у поэта, бежать кого-нибудь спасать: Хотелось плакать и бежать спасать... И сразу всех обнять, и всё отдать! Вот именно такие чувства, такое состояние возникает и у тебя, когда прочитываешь эти строчки: ...и печальные тени ветвей прикасались нежнее, чем руки... Нежнее, чем руки... Подросток, юноша, мужчина?... Руки матери? Руки любимой? Всё в этой строке! Невообразимая полнота чувства! И последующие слова о позоре, и боли, и муке уже прочитываешь с нежнейшей жалостью и любовью к герою. Щемлящая память детства роднит с подростком и юношей, пробуждая не столько жалость, а скорее горячее соучастие, сострадание, когда, по слову Цветаевой, «болит в животе», когда обжигает «утробная жалость» при виде крови на лице возлюбленного. Кажется, с этой же «утробной жалости» нередко начинается и первая эротическая любовь в подростковом возрасте. Потому она так и потрясает сознание, потому-то и запоминается на всю жизнь. Кто-то потом даже пишет трактаты о влиянии крови на чувство любви. Розенкрейцеры на этом даже целую религиозную философию основали, мистическое учение, будто бы тайное знание. Только какая тут тайна, если поэты разнесли по всему свету это символическое уравнение: кровь/любовь. И знаменатель этой дроби стал первейшим образным содержанием чуть ли не всего мирового искусства, но прежде литературы и живописи.

Какое счастье, что Шкляревский не символист, не футурист, не акмеист. Просто поэт. Потому никакой искусственной тайны в его стихах нет, а есть тайна слова, ритма, образа.

Видимо, разгадка тут в той эмоционально-мыслительной атмосфере, которую автор создаёт вокруг своего страдающего героя. Художественные образы являют мыслечувственный ряд, и чувства читателя подчиняются этому ряду. Мне кажется, сильнейший по воздействию образ этого стихотворения – серебряный невод на стене. Сначала он улавливает сознание читателя, затем сообщает невероятную мощь и другим образам, и в итоге стихотворению в целом.

Или вот это, например, стихотворение: Я руки вытру о траву, /Из лодки вычерпаю воду, /Зажду смолу и уплыву /В свою зелёную свободу... Тут, кажется, вообще ничего особенного, кроме того ритмического зова, который обнаруживается в

чередовании мужской и женской рифмы: траву – воду – плыву – свободу...

Мне кажется, ему сейчас очень грустно оглядываться в прошедшую жизнь. Хотя бы потому, что уже тогда, в семидесятые-восемидесятые, в его стихах было столько грусти.

А моя жизнь тогда только начиналась...

Иного поэта откроешь, а строчек для сердца своего не найдёшь. А его книгу раскрыла – и снова родное, узнаваемое... вечно узнаваемое душой!

*Когда на берегу Днепра  
Ночь коротаю у костра,  
Лицом горю, спиной дрожу,  
Под бок подсовываю сено  
И до утра в костёр гляжу,  
Мне кажется, что я живу  
Во всех веках одновременно...*

Хорошо, что его стихи не эгоцентричны, не замыкаются на личности автора, его переживаниях. Они позволяют выбирать: идти или не идти вслед за поэтом в те же «века» и в те же пространства, сидеть ли с ним на берегу, глядеть ли в костёр или в ночное небо...

В его стихи можно свободно входить, как в распахнутые двери, и встречать там простор безграничного мира, вдруг сделавшегося уютным и своим. А можно и наблюдать настороженно издали за его героем, и тогда этот мир покажется далёким, ушедшим навсегда... Мне тоже иногда кажется, что я пересекаю границы времён. А если долго смотреть в костёр, то чувство это вообще неизбежно. И тут весь восторг лишь в том, как поэт обозначил это знакомое всем чувство: «...во всех веках одновременно!» Это весомее, чем просто вспомнить древний инстинкт...

С кем он теперь? ...Без веры он один не смог бы. Живому человеку это не по силам. Значит, он теперь с Богом? Иначе он не вынес бы накопленного за жизнь отчуждения от людей... И всё-таки ему не о чем сожалеть. Всё сбылось! В его стихах свет и жизнь. Отблеск вечности... А о чём ещё горевать поэту?!

О нём трудно написать. Он слишком категоричен в неприятии другого. Вплоть до укора Богу, что люди у Него «не получились». Если б я не чувствовала себя долгое время с людьми точно так же, пожалуй, не поняла бы его отчуждённости, завышенной требовательности к людям, или,

скорее, безнадежного разочарования в них. Думаю, вокруг этого состояния его наговорено много всяческих правильных и неправильных, нужных и ненужных слов и им самим, и его толкователями. А в самой сути своей это состояние на самом деле подотчётно лишь Богу, оно Богом человеку и дано. Вопрос только: зачем?

Мы можем сколько угодно сетовать, горевать о его мизантропии, но это был для поэта единственный путь на земле, и сверни он на более ласковую тропинку... Да, впрочем, и не мог свернуть... Для таких людей: предать себя – тут же и умереть, потерять чувство жизни... А «предать себя» это значит попытаться быть счастливым с людьми, на людях. Некоторым это закрыто. Это какое-то вечное детство и девство. Что бы ни делал человек в мире людей, всё одно несчастен, всё недостаёт чего-то для окончательного блаженства. А в чистом поле раскинется среди цветов и травы, увидит далеко вверху звенящее небо – и всё! ничего больше не надо для абсолютного счастья! И будет это счастье длиться, пока не появится рядом другой человек...

Печальная это судьба... И ничего он не может с нею поделаться, как бы ни пытался переродиться и перевоспитать себя. Тут один выход – творчество, попытка разглядеть себя в отражениях природы. Люди такого чистого отражения не дадут, исказят черты и приметы... И разве виновен в том человек пред Богом? Разве не девственна душа его, не соблудившая ради земных страстей?..

Поэту не простили строки: «Ты Бог! Но Ты не гений...» А я великодушно простила и даже кинулась рассуждать, почему он так написал. Я решила опровергнуть тех, кто придал этому какое-то серьёзное мировоззренческое значение...

Сегодня с ним поговорила. Сначала сильно робела, боялась звонить, но мне передали, что он ждёт звонка. Как это правильно! По-мужски! Поэтому что, если бы он сам набрал мой номер, я бы не решилась ответить. А так у меня была возможность собраться с духом и шагнуть вперёд. Тогда, когда сама была к этому готова...

## КНИГА ДНЕЙ И НОЧЕЙ...

**В** стихах Евгения Рейна как-то попались строчки, вполне подходящие для эпиграфа к этим запискам о моём общении с Игорем Шкляревским: «Выжили только одни разговоры, словно за паузой у Эккермана...»

Сколько было у нас этих разговоров! И днём, и

ночью. О, это было выше моих сил! Я едва успевала воспринимать мыслью, хотя слух успевал улавливать. Но нельзя же было воспринимать слова поэта напрямую, бездумно! Так ещё можно было бы, когда он говорил о грибах, о рыбалке. И да, в эти минуты я отдыхала. Но когда доходило до жизни духа, до глубинных переживаний и впечатлений, тут я забывала про собственное дыхание, горло пересыхало от напряжённого вслушивания и всматривания в произносимые поэтом слова, потому что нужно было успеть увидеть те образы, которыми стремительно рисовал он свою мысль...

Часто он помогал мне своими же стихами, которые я, конечно, узнавала, но, увы, подхватить не могла, мой объём памяти слишком мал, чтобы удерживать такое неисчислимое количество поэтических строк. Игоря Ивановича это, кажется, огорчало. А я оправдывалась, что стихи эти знаю, помню, но не так, чтобы уметь воспроизвести их по памяти, а только так, чтобы сразу узнать их среди других. Только если он цитировал не дословно какой-нибудь отрывок своей книги прозы, а лишь ссылаясь на свою мысль, тогда уж я уверенно подхватывала, уточняя детали, потому что «Золотую блесну», например, читала потихоньку как раз в те дни, и запоминать мысли, их основное направление не составляло для меня большого труда. Здесь не нужна точная память, достаточно понимания.

Может быть, в связи с этой особенностью моего восприятия Игорь Иванович и сказал однажды, что у меня не художественная логика, а другая, которая глубже и надёжнее, и надо ей доверять. Каким-то конкретным одним словом он её не захотел обозначить, а только сослался на интуицию, позволяющую сберечь энергию восприятия, то есть концентрироваться на главном. Тут мы нечаянно углубились в психологию и даже мистику, но не признавая этой самой мистики, а только отдавая дань непознаваемому, непостижимому.

Рассказала ему про французские стеклянные тарелки, однажды взорвавшиеся у меня в шкафу как раз в ту секунду, когда я подумала о чём-то с сильным гневом. Он предположил, что у меня «мощная энергетика», но я запротестовала, не соглашаясь воспринимать себя в каких-то расплывчатых экстрасенсорных понятиях. Перевела разговор на категорию веры. Тут Игорь Иванович саркастически отозвался, что ему это ни о чём не говорит, понятие веры для него ещё более расплывчато, чем для меня «энергетика», и даже оказалось, что он вовсе не крещён. Конечно, я

сильно огорчилась, узнав об этом. Разволновалась, пытаюсь удержать его в этой теме какими-то вопросами, но у него вдруг исчерпалась зарядка, как он сказал, и мы попрощались...

Минут через пятнадцать он снова позвонил, сказал, что разговоры о рыбалке и грибах ему больше нравятся. Подробно описал мне процесс маринования груздей: шляпки протереть, но только марлей, сухой, ни в коем случае не мокрой... выложить в эмалированную посуду, лучше ведро... сильно посыпать солью, потом укроп, чеснок, листья смородины, вишни, семена горчицы, потом опять грибы и соль... и так три слоя... а сверху камень на три кило, чтоб гнёт надёжный был, потому что без гнёта ничего не выйдет... Я сказала, что мы с Сергеем завтра собрались на рыбалку, разговор мгновенно переключился, оживился, я узнала качества лучшей катушки для спиннинга, потом Игорь Иванович вспомнил Сергея Алиханова, точнее, это я спросила про него, потому что прочитала в интернете его рассказ о поездке на Мезень. Они вместе рыбачили на Сояне, Мегре, Мезени. Алиханов разместил давние чёрно-белые фото, иллюстрируя свой рассказ, и про эти фото я тоже спрашивала у Игоря Ивановича. Но когда дело касается фото и вообще чего-нибудь внешнего, чего сам Игорь Иванович увидеть уже не может, он, чувствуется это по голосу, слегка раздражается, теряет интерес к разговору.

Прощались. Будто опять у него батарейки сели...

Минут через десять он снова позвонил, уже ласково, тёплым голосом сообщил, что хочет пояснить, почему не крещён. Я всё это время оставалась в саду, прищипывая росточки лаванды, чтобы она кустилась и цвела гуще, а уже срезанные цветки складывала в нагрудный карман своего сафари, непрерывно вдыхая терпкий аромат. Это было двадцатое июля, пятница... Разговор запомнился и ароматом лаванды, и горечью признаний поэта, и золотистыми вечерними бликами на разогретой стене беседки, где я сидела, слушая его рассказ. Он говорил о родителях...

Потом я взволнованно, торопливо, рискуя рассердить его, откликнулась, что можно ведь креститься сейчас! И уже была готова к тому, что он разгневанно скажет, что не надо его учить жизни и вообще соваться не в своё дело, но он опять ласково, с печальной нежностью произнёс:

– Милая Марина, это не так просто, как вам кажется...

А когда он говорил, вокруг меня летала золотистая стрекоза, шурша и поскрипывая крыльями...



ми... Их много в саду, прилетают и зелёные, и перламутрово-синие, и ярко-оранжевые с красным отливом. Я придумала под деревьями небольшое озерцо, насадила речных ирисов, травы разные. Так они облюбовали этот уголок и, кажется, даже там живут, непрестанно выются над озерцом этим, замирают на листьях папоротников, так что могу подолгу смотреть на них, забываясь...

А эта, золотистая, отчего-то непрестанно вилась вокруг меня в беседке, шуршала, зависая в воздухе, искрясь прозрачными крыльями, и будто играла со мной, даже немного дурачилась... а потом села на тёплый, нагретый солнцем кирпич и внимательно рассматривала меня, нацелившись огромными выпуклыми глазами...

И вдруг совпадает так, что в это мгновение Игорь Иванович цитирует, завершая разговор, свои до боли знакомые мне строчки...

*... Там баркалабовские грозы  
прошли, и мокрые стрекозы  
блестят у брата на спине,  
там детство ловит в быстрине  
форель прохладно-золотую,  
и ласточкой в моем окне  
там счастье ставит запятую...*

И меня окатывает волна священного трепета... Страхнув холодок пробежавших мурашек, с печалью отпускаю прочь это ускользящее, иллюзорно длящееся мгновение – наше земное счастье от безоглядно-доверительного разговора...

Однажды, рассказывая о себе, упомянула аспирантуру, диссертацию, творчество Марины Цветаевой. Спросила у него, как он к ней относится. Сказал, что Цветаеву и Ахматову не очень любит, но Ахматову считает сильнее, лиричнее. Чрезмерная цветаевская эмоциональность ему не по душе. Зато очень любит Заболоцкого. Я вставила словечко, что нахожу у него с Заболоцким много общего, но Игорь Иванович не вдохновился, пропустил мимо, увлечённо заговорил о грибах, которые, по его мнению, уже пора собирать, если только у нас был хотя бы маленький тёплый дождь. Я сказала, что вчера был короткий ливень. Нет, отмахнулся Игорь Иванович, это не то, ливень не даёт грибов, нужен продолжительный тихий дождик, чтобы влага не скатывалась волнами в низины, оставляя сухой землю на склонах, где любят расти грибы, а равномерно впитывалась везде, куда падают капли...

Нечаянно заговорили о возрасте. Игорь Иванович задумчиво отозвался, что, по его мнению, в природе существует жестокое отчуждение от возраста. «Эта зона отчуждения есть у всех». Его точные слова. Мало кому удавалось это преодолеть. В качестве исключения он вспомнил Черчилля, который «написал книгу о войне, получил Нобелевскую премию... а потом, ничуть не смущаясь возрастом, этот толстый человек с сигарой стал рисовать...» Думается, и себя Игорь Иванович мог бы упомянуть в ряду исключений, только скромность не позволила ему сделать это прямолинейно – рассказал о любимых книгах, которые всю жизнь перечитывал много раз. Только сейчас уже не может это делать и сильно огорчается. «Приключения Тома Сойера» и «Три мушкетёра» – самые лучшие книги для любого возраста, считает он. И я понимаю, что так дорожит он своим детством, его теплом, до сих пор согревающим его... А как-то сказал, что вообще не любит напоминания о возрасте, потому что совсем не чувствует его. Разве что состояние здоровья теперь немного ухудшилось. «В семьдесят лет я мог вертеться как юла...»

Как-то пожаловалась, что не успеваю многое из того, что хотела бы успеть. И написать, и прочитать, и вообще прожить. Он вспомнил, как однажды на банкете по поводу присуждения Государственной премии ему вздумалось поблагодарить публично Горбачёва, и уже он направился к микрофону, отходя от стола, но его остановил Алесь Адамович, произнеся фразу, которую он потом сделал девизом на всю жизнь.

Тот взял его за рукав и спокойно сказал ему:  
– Не мечись.

Однажды спросила, почему он не отвечает на публичные инсинуации и оскорбления. Игорь Шкляревский ответил поэтически, иносказательно.

– Милая Марина, я прошёл за эти два года три или четыре больницы, у меня были две операции... Клятва Гиппократова – это половичок, который лежит у двери... и врачи тут вытирают ноги... Это и в медицине, это и в литературе... Цинизм, выгода, предательство... Все понятия... дружбы и чести – в состоянии обрушения... Литература уже не на обочине... её оттеснили туда, где горят костры... где тлеют свалки... Литература отодвинута нуворишами... Так что мы в плачевном состоянии...

Когда он долго рассказывает, я иногда вздыхаю. Чтобы дать понять, что я тут, жива. Он спохватывается:

– Сейчас, ещё немного доскажу... ещё пару фактов... а то вы устали...

Тогда и я спохватываюсь:

– Что вы, Игорь Иванович! Я не устала... Наоборот, внимательно очень слушаю... Это я переживаю так, потому и вздыхаю...

– Вот и хорошо, что переживаете...

И дальше рассказывает.

Вчера кое-что изменилось в моём понимании поэта.

Он позвонил раза четыре за вечер. Мы подолгу разговаривали, он многое обо мне узнал, удивился, кажется, даже проникся доверием. Потом в половине первого ночи опять позвонил. Я уже больше не могла говорить, сил не было... Но встревожилась его состоянием. Он прочёл по памяти отрывки из своей последней книги, ещё рукописи... Вот тут я действительно пожалела, что не могу включить диктофон (ведь заранее не спросила его об этом). Но это если думать о литературе. А вот если подумать о состоянии его души... Дело в том, что он выпадает из человеческой реальности... Какой там восток, какой буддизм, это для него слишком традиционные направления... Это было бы безобидно. А мне показалось, что ушёл он в мистическое визионерство в стиле Бёме и Сведенборга... Не знаю, кого ещё с ходу вспомнить... Но уже эти двое о многом могут сказать... Он сам или не заметил того, что вслед за ними пошёл, или он сознательно идёт туда, но думает, что мы... что никто из современников сейчас, будучи совсем в других заботах, не увидит, не разгадает этих его стремлений. А я вчера сразу же, с первых строчек его, которые он мне прочёл, уловила этот полёт в никуда, в «ничто», которое, как он говорит, «было до Вечности», «до Бога»... Он говорит об этом с таким упоением, что мне страшно... Это уже не лёгкая стадия увлечения мистическим визионерством, это поглощённость, диктующая ему мысли и целые фразы... И он, не отрывая руки от страницы, как медуум, всё это спешит записать... а потом панически восклицает: – Если я потеряю эту рукопись, я сойду с ума!

Как это называется? Кажется, его сознание устремляется в холодный, бездушный космос... Балансирую только на грани собственного понимания, припоминая всё то, что было прочитано в своё время об этом... и что сама чуть-чуть, ничтожнейше мало, но всё-таки чувствовала... Угадываю это по его словам, по его попыткам передать свои ощущения. Когда-то я именно после подобных ощущений и мысленных представле-

ний кинулась в Церковь, чтобы не лишиться разума... Эти немецкие мистики-визионеры строчили свои сочинения «под диктовку» свыше, как им казалось... Но это же невозможно читать нормальному человеку! Если б хотя бы это поэзией называли, мало ли какая у кого образность бывает... Человеческому сознанию достаточно Евангелия! А это мистическое визионерство такой мощнейший духовный соблазн... Слепление восторгом доступности Неба, которое вдруг распаивается мысленному взору, будто на телевизионном экране... Какая-то призрачная «точка отсчёта»... «глубже всякой глубины»... Это слова Игоря Ивановича. Но это ведь то же самое, что у Бёме: «корень, откуда всё имеет своё начало». Или он только недавно прочитал «Аврору»?.. Эту «мать философии, астрологии и теологии, на истинном основании» и прочее... Да, помнится, критики писали о натурфилософии во взглядах Шкляревского... Так это когда было! Он что, с этой «Авророй» всю жизнь не расстается?.. Ну, хорошо... Замечательный Бёме... Одухотворённый сапожник... Апостолы тоже были рыбаками... Но я не верю, что сапожнику семнадцатого века можно довериться с большей безоглядностью, нежели тем, кто был рядом со Христом!

...Мне нужен поэт Игорь Шкляревский. Поэт, просветляющий моё сознание своей лирикой. Мне не нужен ещё один Бёме и ещё один Сведенборг... и сколько их ещё было, этих визионеров, этих проводников в иную реальность, которую они сами представляли себе весьма противоречиво... Ещё вчера он был трогательнейшим лириком для меня, пронзительно чувствующим мир! А теперь он будто сам пронзён этой отравленной стрелой холодного мистицизма... мёртвого, бесплодного мистицизма... ничего, кроме иллюзий, красивых бесчисленных иллюзий, не порождающего... Может, Игорь Иванович позвонит сейчас и ещё что-нибудь выдаст удивительное, и я успокоюсь, догадавшись, что он разыграл меня, подразнил воображение...

Прочитала эссе Зои Межировой. Как странно, как промыслительно, что оно попало мне именно теперь... Ведь ночью Игорь Иванович обрушил на меня этот неудержимый поток своих откровений... Прочитав её эссе, поняла, с какой колоссальной разницей люди могут понимать одни и те же слова, одни и те же образы... То, что меня вчера так напугало, так насторожило в поэте, автора здесь умилило в таком духе: «...Этот серебряный холод – живая бодрость ослепляюще высокой духовности. В его стихах очень ясное, кристально



прозрачное видение, как будто пишущий их только что вышел из воды и в глазах, как линза природы, растекшаяся капля, дающая особое преломление света и удешающая четкость зрения. Сквозь неё отчётливее видны детали мира, видимого и творимого...» «Шкляревский – флейта Господа!..» Красиво. Но поэт – если и Господня флейта, то только в самом лирическом смысле слова, в самом трогательном, живом, человеческом... «Этот серебряный холод» – «ослепляюще высокая духовность»... Что, скажите мне, под этими кружевами спрятано... какая истинная мысль? Мысль же должна быть! А я не понимаю – где она? Потому что не умею, будучи человеком православной веры, представить себе «высокую духовность» вне Христа, вне молитвы, вне смирения перед авторитетом Церкви как Тела Христова (а не только собрания священников и прихожан). У Зои Межировой великолепно сложенный поэтический текст, красивое плетение словес... Но я не понимаю, о чём она говорит... она духовностью называет некую лирическую дерзость... не соединяя духовность с реальной жизнью... с дисциплиной духа... с верой, наконец! Во что можно верить, усвоив себе такую «духовность»? В лирическое бессмертие в «холодном серебре»? Красиво. А по факту? А, поняла... это такая эстетическая духовность, изящная духовность. Есть изящная словесность, а есть, значит, и изящная духовность...

Кажется, у Шмемана читала про этот бесцеремонный переход границы между религией и культурой, которым грешат многие. Он писал, что культура в своём истинном смысле неизбежно связана с чувством границы, ограниченности любого совершенства на земле. Потому для человека культуры, творца, художника самое главное и самое трудное – самоограничение, смирение перед границей, которую переходить нельзя, чтобы не впасть в ошибку, подменяя культуру иллюзиями религиозного свойства. Шмеман называл это «максимализмом культуры», отсутствием истинной духовной дисциплины... А я понимаю так: это когда культура претендует на место религиозного опыта. Когда надо говорить о метафоре, а говорят о Боге...

Моя поездка в лес и была ответом на эту мутную эзотерику, в которую меня окунули. А они называют это «прозрачной духовностью»... Нет, это блажь. И я поняла, что преодолеть эту умственную блажь надо некоторым насилием над собой. Я ведь поначалу, истощённая своим же эмоциональным всплеском, еле ноги волочила по лесу, а потом как-то отвлеклась, увлеклась... И даже в

такие овраги забиралась, от которых раньше в страхе отшатывалась, потому что там было сумрачно и тревожно. А сегодня – после того духовного сумрака, который почудился мне и в ночных страстных словах Шкляревского, и в многозначительной статье Зои Межировой, при всём их невероятно возвышенном философичном окрасе, – я в овраге сумрака не увидела... На крутом склоне торчали золотистые молодые грибки с белыми плотненькими ножками, и я повлеклась туда с азартом и вдохновением, рискуя переломать ноги на скользких спусках. Хотелось визжать от восторга! И вот после этого почувствовала перелом в самоощущении... будто сбросила с себя чужую ношу... Теперь было легко и ясно на душе и в истомлённом, но возбуждённом азартом теле. Так это удивительно самой стало. Игорь Иванович действительно вчера через край хватил... Но это, конечно, только подтверждает лучшие свойства его поэтической природы. А о «высокой духовности» я бы остереглась тут говорить...

...Игорь Иванович всё-таки тяготеет к одиночеству. А я, кажется, права в том, что это одиночество стало ему вредить, он стал беззащитен душевно, да и, пожалуй, духовно, потому что устал и готов принять обольщение. Фигурально выражаясь, некто из космоса ему льстит... Как, например, у Некрасова в поэме «Мороз Красный нос» крестьянка Дарья так уютненько устраивается в сугробе, неприметно вмерзая в него, потому что её утешает некто, обещающий забвение душевной боли и нестерпимого её страдания...

Игорь Иванович как-то порадовался одному нашему созвучию: «Вы тоже человек, время которого – ночь!» Да, это верно... Но без всякой такой эзотерики... Только земные заботы...

Сегодня мы обстоятельно поговорили о грибах. Дёрнуло меня обронить замечание, что у моих вчерашних грибов была тёмная изнанка, ну, это губчатое вещество под шляпкой... Игорь Иванович завёлся! Кончилось тем, что он строго-настрого приказал мне завтра же утром нести грибы в лабораторию. Не стала ему говорить, что мы уже съели целую сковородку этих грибов в первой половине дня... Хорошо, что он не видел, что я слушаю его с безмятежной улыбкой...

Сказала, что прочитала эссе Зои Межировой, что она книгу его упоминает... «Книгу белых ночей и пустых горизонтов». Игорь Иванович не удивился. Видимо, забыл уже, что мне эту книгу представил как некую таинственную рукопись,

которую боится потерять. А меня это только обрадовало. От души отлегло. Просто в тот вечер он, видимо, сильно воодушевлён был, чуть-чуть преувеличил какие-то моменты. Или сама я что-то себе придумала...

Думаю, я потихоньку привыкну к его характеру. Но вот как мне теперь Игорю Ивановичу отчёт про грибы придумать?..

Возникло острое желание отдохнуть от разговоров. Он меня перегрузил своей гениальностью, почувствовала необходимость во внутренней защите. Всё-таки моя душа слишком впечатлительна, ей нужно отстраняться от объекта влияния, только тогда можно будет безопасно продолжать общение. Понятно, что рискую обидеть его и потерять нашу внезапно возникшую дружбу, но тут ничего не поделаешь, нужно восстанавливать силы. Надеюсь, Игорь Иванович понимает это и просто обрадуется мне, без всяких обид, когда я снова позвоню ему...

Игорь Иванович сказал, что я обязательно должна написать обо всём, что у меня в жизни было. В смысле, о том пути, который привёл меня в семинарию. Он сказал, что у меня уникальная ситуация: натура чувствуется страстная и неустойчивая, а выбор такой неожиданный – семинария... Что это значит? В этом обязательно есть загадка, по его мнению, обязательно есть нечто, о чём можно было бы написать...

Сегодня Шкляревскому прочитала своё эссе про бабочку, он в ладоши захопал и опять кричит: – Bravo, bravo! Это прорыв!

Прямо с начала самого, с первого абзаца так закричал. Говорю: Игорь Иванович, вы же преувеличиваете... издеваетесь надо мной, да? А он говорит: что вы, Марина, я радуюсь, что у вас от живого всё идёт, а не от голой мысли! А потом, когда уж до середины дошла, опять смеётся и говорит: ну, пусть Курбатов теперь отбивается от этих насекомых!

Страница про рай показалась ему скучной. Не нравится ему и слово «родина» в моём контексте, говорит: у нас это слово уже не воспринимается так, как вы его хотите подать, не сработает это... с этим надо серьёзнее, строже... А когда про бабочку снова пошло, он опять кричит: вот! вот оно! bravo! какая она у вас живая! как это замечательно у вас! Спрашиваю: Игорь Иванович, это значит, что вам нравится, когда я про окружающий мир пишу, а не про литературу? Отвечает: нет, не в этом дело... у вас Курбатов и должен иногда по-

являться, раз уж вы от него отталкиваетесь... но вам надо именно оттолкнуться... как бы невзначай потом про него вспомнить: ах, забыла совсем, простите, Валентин Яковлевич... чтобы бабочки ваши были важнее самого Курбатова... и не надо его много цитировать... он слишком умно пишет... я восхищаюсь его даром... но он отдалён от реальности... он не поймал ни одного пескаря, не нашёл ни одного подосиновика... он даже не знает, когда можно собирать орехи!..

Шкляревский про рай совсем слышать не хочет. Рифмует рай с сараем. Говорит: отойди от скоплений человеческих – вот и рай, и другого не надо.

Вчера рассказывал мне о писателе, у которого «слава Геббельса в русской литературе»... Это из разряда тех нюансов, которые я предпочту забыть, как забывает священник грехи исповедуемого...

О другом сказал восторженно: «Рыцарь литературы и русской речи! Пусть не такой красивый слог... Но отвага!..» Это было сказано о военной прозе.

Досталось и тому, кого сама читаю с восхищением, встречая материалы в интернете: «Он меня разочаровал... Его талант даёт ему право на большую самостоятельность. Смотреть на унижение Пушкина?! Мы один раз живём! Подумаешь, чиновникам не понравится... Подумаешь, Толстой пальчиком пригрозит... Да выкрути ему этот палец!»

И мне тоже досталось: «Она довольна собой... так подумал я, когда мне прочитали газету... Я заметил всё это в вашем тексте... Не обижайтесь, но разговор по гамбургскому счёту...»

«...А давайте расскажу вам про икону... У меня была икона «Зосима и Савватий»... Писатель... да вы знаете его, конечно... пришёл он ко мне однажды и говорит: «Игорь, дорогой! У меня там у подъезда стоит «Волга»... новенькая... Я заберу твою иконку... и на такси поеду домой...» А я... как вы думаете, что я ему сказал?... Нет, говорю, Владимир Алексеич, иконы не продаются... Грех этот будет ездить вместе со мной... Эта «волжанка» воткнётся в столб...

...У меня было несколько замечательных икон... Одну я выпросил у художника знакомого... У него катушка была плохая, сломалась... Я продать не могу, мы же друзья... я могу подарить... «А я что должен подарить тебе?» А ту икону, что я люблю... «А, Николу Угодника!..» И подарил...»

Задумчиво рассуждает о моём эссе «Бабочка на ладони»:

– Людям надоели склоки... Проснулась тяга к простому существованию в радости... Дело не в том, что там есть бабочки... Это хорошо и убедительно написано... У вас длинное дыхание, вы можете долго и плавно вести... Да... ещё одна бабочка, ещё один муравей... Это продление дыхания, это дар... умение вести... идти по дороге и замечать это и это... и вон то... Это вы можете... Давайте длить слова размеренно и щедро... Пас-тернак... Речь ваша льётся... Иная хозяйка наливает в стакан, и ровно течёт струя, но не через край... Нас в Тавриду случайно струя занесла... Мандельштам... Ваше сочинение просвечено... и на просвет оно в точках пылицы... Мёд у вас настоящий... Поэт – всесильный бог деталей! И критик тоже... У меня есть несколько талантливейших друзей, но они урбанисты... До мозга костей... Они не знают, что делать в лодке с мешком и верёвкой... Они не прикасались к мокрой коре, не знают, как скрипит под ногой плотный корень боровика... как в овраге пахнет сыростью... Когда они пишут стихи, им не хватает... чувства... точности... У них бабочка просто бабочка... Не бархатница, не моль чехлонская, не переливница... И получается неубедительно... Не-у-бе-ди-тельно! Им не хватает знания подробностей мира! «Не из книг вы это узнали?» И из книг! Я соединял это со своим миром... Я человек воды... Я вот сейчас скажу... Я отказался от публичной жизни. Меня на улицах узнавали, в телевизоре в самое лучшее время, перед футбольными матчами появлялся... Выходишь на улицу, и молодые люди встречают... узнают тебя... Я преодолел свою провинциальную застенчивость... Первого мая на Красной площади я читал свои стихи. Вся страна... Не оробел... Проверял себя. А потом я почувствовал, что больше не могу... Я вдруг разучился это делать! Один раз не вышло это... Удивился: что это с тобой? А потом понял, что душа сопротивляется...

Игорь Иванович сегодня рассказывал, как лечить простуду. Позвонил рано, я только проснулась. Говорит, что беспокоится о моём здоровье. Я ему вчера пожаловалась, что заболела. Вообще-то, он и сам догадался по голосу моему, но я ещё и приврала немного, дескать, совсем больная, кто бы меня пожалел... Он смеялся, когда я рассказала о причине болезни. Говорит, что только женщины могут так себя вести. Я сначала поливала сад, потому что у нас большая засуха,

месяц ни одного дождика, и я босиком была, а вода холодная... А потом, когда горло заболело, я огорчилась и поела мороженого.

«Никому не отдавайте свои замечательные делюшки!» – это он про эссе о бабочках и вообще про метод «совершенно новой критики» (его слова). Хотя с нескрываемым восхищением всегда упоминает Курбатова как основоположника такого метода...

Недавно Игорь Иванович про рулетку долго рассказывал, за полночь заболтались. Он, может быть, представлял, как мне всё удивительно, как потрясает меня его рассказ о выигранных и проигранных миллионах долларов... А на самом деле я мужа подразнила потом этим рассказом, только и всего, потому что он тоже игрок, карты любил в молодости, чуть не целую библиотеку выиграл, у работника почты, через которого подписные книги проходили. Он этим миллионом изумился. А я нет. Слушала Игоря Ивановича и думала: а что он чувствовал в те моменты, помимо азарта игры? в каком состоянии была его душа? что она любила и что её тревожило? сам он, как живой человек – чем надеялся прожить? не этими же миллионами? И мне было отрадно, когда он признавался, что спускал потом эти миллионы так же легко, как и достались они ему. О тайнах выигрышей кое-что рассказал. О наблюдательности грибника и рыболова, которая давала ему чувство превосходства в рулетке, в лотерее. Например, форму тонкой проволоки мог запомнить на узоре коробки, в которой приносил деньги. И если проволока чуть выгибалась, чуть отклонялась от узора, он уверенно указывал на коробку и всегда забирал выигрыш. На пустой коробке проволока не деформировалась. Привыкнув следить за поплавком, он мгновенно «сканировал» и узоры на коробках! Или вот ещё фокус. Молодая девица, вынимающая билеты из барабана, ценила свои длинные ногти, потому вытаскивала билеты из верхнего слоя. Шкляревский, приметив это, выжидал и бросал свои билеты сверху, потому всегда один из его билетов оказывался у девицы в руках, и он выигрывал. Когда говорил про большие деньги, он, как мне показалось, всё-таки рассчитывал на мой восторг и восхищение. А я ничего такого не чувствовала. Становилось скучно, думалось, что за этими деньгами могло не быть душевной радости. Как грибника и рыболова я его понимаю, я его чувствую и радуюсь ему. Как игрока – нет. Игрок далёк от меня...



Читаю отрывки из эссе о Шкляревском одного нашего писателя.

Вот фраза: «Хотя главная мысль этих строк осталась с поэтом навсегда: людское общество хуже, а то и отвратнее общества Природы». Мне не нравится слово «отвратнее», оно вульгарное; да и понятие «хуже» надо уточнять: в каком отношении? Человек всё-таки венец творения, и Бог любит человека более всех земных тварей, потому что только ему даровал душу вечную. Так что тут надо бы помягче в формулировках. Шкляревского огорчала в человеке грубость и жестокость, безнравственность и бездуховность, какая-то примитивность, может быть. Но когда вы так обобщённо высказываетесь, есть опасность настолько упростить ситуацию, что она станет неприемлемой для читателя. В лирике Шкляревского всё это чем-то обосновано, его поэтика подводит нас через ощущение красоты мира, присутствующего в его стихах, к пониманию всей грубости искажённого человеческого естества и устроенного на безнравственных началах человеческого общества. А когда вот так сплеча рубануть эту голую мысль, она вызывает протест. Или вот ещё написано: «И не за людей ли попросил у Бога Игорь Шкляревский, когда отдал свою Государственную премию на посадку леса». У меня здесь, может, совсем придирка необоснованная, но я бы не стала о Шкляревском говорить, что он «попросил за людей». Мне кажется, ему не свойственно такое самобичевание... Он верит, что Бог любит его; у него какие-то личные отношения с Богом, и других людей он туда не впускает; за других перед Богом тоже, судя по лирике, не станет «просить». Тут очень тонкая ситуация... боюсь переступить черту... Но Шкляревский даже не крещён. У него как-то всё по-своему. Боюсь, что мы пытаемся навязать ему наше христианское милосердие. Может, и я в своей статье что-то преувеличила. Но я писала как православный человек, который не может видеть поэта иначе, которому иначе и не нужно смотреть. Но сам он не хочет так на себя смотреть. Он противится всякой попытке навязать ему христианское смирение. Ему нравится моя позиция христианина по отношению к живому страстному поэту. Но если эту тему как-то наращивать, он только хмыкнет в ответ: ну да, пометайте...

Я общалась с ним всё лето, беседы бывали напряжёнными, плотно насыщенными, и я устала. Он духовно не заряжает, а, кажется, напротив, – разряжает. Поэзия его – это другая стихия, там мощнейший заряд, магнитные поля... Но личное

общение с ним – полная разрядка батареек! Вечером звонит, и я с ужасом думаю: ещё пару часов разговора – и меня нужно неделю приводить в чувство... Он звонит и сразу: – Я на секундочку, нужно сказать вам вот что... И наша секундочка длится часы, с перерывами, конечно. Ему приходится ставить телефон на зарядку, минут на пятнадцать. Я это к тому, что он не станет умиляться рассуждениями о его милосердии к человеку. Он очень требователен. И мне кажется, у него есть на это какие-то основания. Ему дана такая сила, какая есть не у многих. И он ждёт от людей либо такой же силы, либо признания своего права быть сильнее... Я только не могу понять, почему эта сила не передаётся при личном контакте, а только через его поэзию... В личном общении, повторяю, он доведёт вас до изнеможения и будет победоносно ликовать, как ребёнок: «Я только дошёл до самого интересного, а вы уже устали?! Как жаль...» Так что у него есть право думать о любви Божией к себе, невзирая на свои бунтарские строчки. Неоднократно говорил: «Вы думаете, Бог любит только христиан? А как же другие люди? Он любит всех, кто просто любит Его и благодарен Ему за всё!» И ещё: «Я верю, что Бог любит меня. Мне не нужны проповеди. Ему не нужны мои поклонения. Так что не усердствуйте в попытках довести меня до крещения... (А я вообразила было, что призвана помочь ему на этом пути.) Я согласен с вами, что это прекрасно – быть крещёным. Это особый путь. Но давайте думать, что эта великая радость, как вы говорите, ещё ожидает меня... Пусть у меня остаётся право предвкушения этой радости, этого великого блага... Даже Дмитрий Сергеевич (Лихачёв; мы иногда вспоминали его в разговорах) не пытался меня крестить... И вам это не по силам, Мариночка... Мне приятно, что вас заботит это, что вы неравнодушны ко мне, но давайте оставим эти обстоятельства на волю самого Бога... Если меня не крестили родители, не хочу легкомысленно подходить к проблеме... Оставим это...» Больше мы не возвращались к темам православным и даже вообще христианским. Он любит говорить о присутствии Бога в своей жизни, верит в любовь Божию, но это, как выражается он, «из другого облака»... И я больше не пытаю, из какого...

Иногда он долго молчит, и я не звоню, молчанием пытаюсь восстановить силы. Но я понимаю, что ему хочется общения. Ему этого недостаёт в Москве, где знают его не только как поэта, но и как чрезвычайно сложного собеседника. А мне он позволяет общаться с собой по-простому,

по-детски... Простота у нас в виде нетребовательности к светским приличиям. Позвонит в половине первого ночи и спрашивает:

– Я не поздно?

– Что вы, Игорь Иванович, я как раз о вас вспоминала!

Сергей мой появляется на пороге комнаты и укоризненно смотрит: нашли время для разговоров...

Летом это нормально. А сейчас я уже не могу в таком режиме общаться. Вот и пришлось отмалчиваться, чтоб отдохнуть. Но я верю, что Игорь Иванович не будет обижаться... Сказала ему, что быстро устаю. Он удивился: разве можно в моём возрасте уставать от общения? Ах, Игорь Иванович, вы из другого поколения... А мы уже слабаки...

Это моя проблема – усталость от разговоров. Хочется больше общения, но психика не выдерживает нагрузки, теряю ориентиры... А у него пристрастность определённого свойства, ничего не поделаешь. Но это не стариковское, нет. Тут он моложе всех нас. Притом такая разница в возрасте... Он может себе позволить бесцеремонность со мной, я же не должна себе это позволять.

Как-то звонит поздно вечером и с ходу произносит, не давая мне вставить словечко: – В мои глаза глядели очи непостижимой белой ночи... Ложусь поздно, не заснуть нормально... да и не поработать... Самое лучшее сочинение в последнее время... это ваше сочинение о бабочках и мотыльках... Что вы недавно читали... Длинная строчка, длинная... Это мало кому дано...

А потом предложил исправить концовку эссе о зубках, и мы вместе подбирали нужные слова...

По поводу невоцерковлённости его не мучаюсь. Если уж Курбатову это не мешает любить и ценить Шкляревского, то нам тем более. Правда же, для меня Курбатов тут главный авторитет: если он не смущается его противоречивой религиозностью, лишний раз не касается её, то и меня это не смущает. А то, что я этого коснулась и по-своему об этом написала, так я на стихи опиралась, не трогала личные убеждения. Это я позже о них узнала. Но в стихах ведь ничего не изменилось, как были, так и есть... Как раз это и подтверждает нашу искренность в восприятии их, значит, ничего не придумываем, не умствуем. Не могу же я разочароваться в своих сердечных впечатлениях – они либо есть, либо нет. Разочарование – это уже другое впечатление. Но первое-то не отменяется при этом. Моё эссе – это в большей мере я сама, не жели Игорь Шкляревский. Это я сама – и его стихи, которые меня открыли мне же. Пусть меня ру-

гают ортодоксы: неправославного оправдываешь! Это будет умствованием с их стороны. Они в этом мнении будут идти от ума, от мысли, что «так нельзя». А я просто открывала книгу его стихов и читала... И она поднимала меня, возносила над моими житейскими страданиями, оправдывала их... Вот и я его «оправдала», его поэзию «оправдала». Мысль может быть права или не права. Чувство таковым быть не может. Оно или есть, или его нет.

Не разочаровывайтесь в поэте! Он очень одинок, он такую борьбу ведёт... Представьте, он почти ничего не видит, а ему безумно хочется читать, хочется видеть красоту окружающего мира... Вот он и презирает все условности, звонит, когда душа попросила, надеясь, что я всё пойму, что найду в себе силы...

Я не хочу сама оценивать эту ситуацию с его «нехристианскостью». Его поэзия выше его личности! Вспомните пушкинское: Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон... Никто же не вменяет ему «нехристианскость» Аполлона, и верующие, и неверующие ссылаются на эти строки, когда хотят доказать, что истинная поэзия выше сочинителя-выразителя. Пушкин для нас «наше всё» не потому, что был страшно правильный христианин, правда же?..

Меня коробит, когда поэтов начинают оправдывать этим тезисом. Нельзя всех подряд считать выразителями высших смыслов. Некоторые гениально выражают только свои чувства и переживания, без выхода в универсум, как выражаются философы. А Шкляревский непрестанно рвётся от людей в универсум, в космос, за грань постижимого... И если это не от ума, а от чувства, тогда это знак его приобщённости к высшему. Он не захотел, чтобы его мироощущение приняло форму христианской веры, но это же не значит, что ощущений нет. И когда он их выражает в стихах, он ничего не говорит такого, что оскорбляло бы чувство христианина. Вот в чём тайна... Вот это главное в нём! Он не оскорбляет Бога. Тогда чем он может оскорбить меня?

Когда мне передали номер телефона поэта и сказали, что он ждёт звонка, растерялась невообразимо. Стала оправдываться: вы переоцениваете степень моего дерзновения, и прочее. Это как в стихах у него о первой любви: «деревянные руки и ноги...» Шептала: я боюсь с ним говорить! вот так, сразу... И вместо звонка села писать ещё одну статью. Но пообещала, что позвоню ему в день рождения.

А потом мы подружались. Двадцать шестого

июня читала ему своё эссе, опубликованное на сайте «День литературы». Прямо с планшета и читала, открыв публикацию... Ах, если бы записать на диктофон его отзыв! Почему на запись не поставила? Нет, нельзя. Мы с ним об этом не договаривались. Я только записываю по памяти после наших разговоров. Вот разве это могу процитировать: «...Этого никто, кроме вас, больше никогда бы не написал обо мне...» Видимо, в смысле, так не понял бы его...

Заметив, что я волнуясь, робею, он рассердился: читайте мне как равному! Ваш текст сильнее, чем ваш женский голос! Так что скромность тут ни к чему. Это он произнёс сразу, как только я начала читать, прервал бесцеремонно и потребовал: читайте строже, увереннее!

Договорились с ним, что завтра прочту ему второе эссе.

Только встала сегодня, как звонок раздаётся и, даже не сказав «здравствуйте», Игорь Иванович громко произносит в трубку:

– Проснулся под впечатлением... Граааандиозное живое исследование!

И ещё минут десять мы поговорили...

А вот обратить его непросто... Жаль, что он не осознаёт себя со Христом. Он где-то на востоке. В буддизме, что ли... Не поняла пока. Он уклоняется. Говорит загадочно: нет, это из другого облака. Думаю, восток этот у него... западный. От западных мистиков. В советскую эпоху восток отсюда к нам пришёл. Я уже в 90-е годы этим увлеклась. Но обожглась и отпрянула.

А про буддизм он сам в одном интервью говорил, что не надо к нему это клеить. Журналист у него спрашивает: «...ваша поэзия тяготеет к какой-то буддистской умиротворённости и созерцательности?» Поэт отвечает: «Я никогда не был буддистом, что Бог дал – то и есть». Тот опять допытывается: «Вы верующий человек?» Шкляревский ответил длинно: «Думаю, верующий, но я верю в Бога без посредников. Осознать себя смертным существом, которое навсегда исчезнет и ничего от тебя не останется – это страшно. С этим человек не может смириться, а религия дает человеку утешение и надежду на жизнь после смерти». Как это у него умно получается... «Думаю, верующий...» Как это «думаю»? Тут не «думаю», а чувствую и знаю! И ни секунды жить без этого не смогла бы...

...А ещё Игорь Иванович задумчиво проговорил, когда я дочитала своё эссе: «Сколько же в

вас детства...» Как бесконечно дороги мне эти его слова!

Про себя нечаянно открылся: «Я очень счастливый человек. Меня любила фортуна. И ангелы стали меня оберегать... Я не умею роптать... Не признаю своего возраста... Это не какое-то сумасбродство в противоход времени. Это моё личное ощущение, которое мне подарено... И я счастливый... Но а что не вижу... Ну, что-то устало... У одного сердце, у другого глаза...»

С Игорем Ивановичем каждый вечер теперь разговариваем. Он мне стихи читает. А потом мы смеёмся. Он любит разговор шуткой завершать, чтоб не очень тяготела какая-нибудь важная для него мысль... Видимо, так он присматривается ко мне, пробует, можно ли со мной говорить серьёзно...

«Я ни с теми, ни с этими, я ни с кем», – это в точности его слова, успела записать вслед за ним. Думаете, это одиночество? Не-а! Одиноким был бы уныл и скучен. А он лёгкий, светлый, весёлый и любопытный. Ему всё интересно. У него не одиночество, а грустное уединение. Живёт в уединении, но соединённый со всем миром! Иначе он бы поплёк, потускнел. А он искрится!

«Ваша статья как салют в пасмурном моём восьмидесятилетии», – это он о моём эссе «Одиноким до звёзд...» Но тут некая тайна. Были ведь и другие статьи о нём. И он сказал, где их можно найти. Серьёзные газеты. И он с большим почтением называл их. И авторов. Но что-то греет его в наших разговорах... Ему этот детский восторг, который присутствует в моём первом эссе, может, милее всего...

Как-то рано утром позвонил мне, по-толстовски воскликнув:

– Не могу молчать! Должен рассказать вам...

И сказал, что я оправдала в нём то, что он сам в себе не пытался оправдать, и простила то, что он сам себе не мог простить. Примирила со всей жизнью. Он утешен, и ему теперь не страшно. Поэтому что впереди уже недолгая дорога. Но признался, что всё равно ему бывает страшно думать о том, что за чертой, за краем этого пути...

«Вот лежат подарки... Дорогие. Вчера надарили мне важные люди. Но этих подарков скоро не будет, я раздам их. А ваш останется навсегда...»



Когда читала ему эссе, он очень внимательно, не перебивая, слушал эпизод с цитированием архимандрита Рафаила Нойки, запомнил, что это румынский подвижник, религиозный писатель, и потом говорит, что это очень хорошо, что столько взглядов, разные имена, что я преподаватель семинарии... Ведь для меня всё это естественно, гармонично, и я рассуждаю не как раздражённый клирик... И цитирование религиозных деятелей, обилие авторитетных имён в моём случае не выглядит рисовкой...

А я как раз по поводу этого места больше всего и тревожилась: вдруг возмутится, скажет, что это затянута, слишком многословно, назидательно. А он, наоборот, слушал затаившись, даже дыхания не стало слышно (а обычно я слышу его). Я даже позвала, дочитав цитату:

– Игорь Иванович, вы там? Вы слушаете меня?

– Да, я здесь, – как-то глухо, из глубины медленно произнёс он...

Игорь Иванович со мной спорит.

– Библия Бога очеловечила. На седьмой день Бог отдыхает... Бог – неизбывная сила! Ему не надо отдыхать!

По поводу одной задуманной книги:

– Не надо концепции! Иначе будете подгонять... Ведь некоторые люди даже не понимают, что они, веря в Бога, не верят в Него. Должны быть живые, острые сомнения...

– Почему Иисуса называли рыбой? Икринки возникают в рыбе сами по себе... как непорочное зачатие... И Дева Мария...

Он недоговаривает, долго молчит, будто забыв про собеседника...

Вчера у него афоризм встретила: «Господь не так суров, как монастырь». Это из его прозы «Золотая блесна». Слова можно понимать поверхностно: как вседозволенность. Но у меня, прямо скажем, довольно богатый жизненный опыт для того, чтоб не плавать по верхам, подобно запечатанной пустой бутылке. Чего-то я не знаю и в этом могу ошибиться. Но в том, что Господь добрее многих людей, желающих нам добра, имела счастье убедиться...

## СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР

Сегодня весь день была у мамы. Брат позвонил, сказал, что она упала и не разговаривает. А я, когда уже ехала к ней, подумала, что она опять что-то придумала, чтоб я поскорей приехала. Так бывало не раз. И точно! И разговаривает, и ни одного следа ушиба я на ней не обнаружила... Говорю ей: опять капризничаешь?! А она бухтит себе под нос: а не покапризничаешь, тебя и не дождёшься...

А я болела в прошедший выходной, сидела дома, кашель сильный был. Меня Игорь Шкляревский лечил по телефону. Сказал, что надо порошок стрептоцида нюхать, как наркоманы героин – в ноздри втягивать. Но я и без героина поправилась. Зато мать по мне соскучилась. Пришлось всё бросать и ехать в Покровское.

Маму полечила, накормила и уложила спать, позвонила Шкляревскому. Очень хотелось, чтоб он нашего петуха послушал. У нас так петух орёт! Нигде больше такого не услышишь. Игорь Иванович сначала не ответил, а через минуту сам перезвонил, и мы опять почти два часа разговаривали. Я ему давала послушать и нашего петуха, и трёх дворовых собак, и козу, и кошку с котятками. Все что-то кричали в трубку, только коза упрямылась. Отойду от неё, она блеет мне вслед, я к ней с телефоном – она молчит и бородой трясёт.

А потом я сидела на лавочке перед домом, смотрела на лес напротив, на другом берегу пруда, и говорила Игорю Ивановичу:

– Представляете, я сидела на этой же лавочке тридцать лет назад... И могла ли я тогда подумывать, что буду разговаривать на этом самом месте с поэтом Игорем Шкляревским! Это был восемьдесят седьмой год, когда вы посадили лес на берегу Припяти! А я училась в десятом классе... Сидела в мае с тетрадкой, к выпускным экзаменам готовилась по ночам, под уличным фонарём, облепленным мотыльками...

Игорь Иванович умилялся, радовался, смеялся как ребёнок, таким звонким смехом. Ну, не по поводу леса и наших воспоминаний. Он смеялся, когда я говорила ему всякие лестные словечки: «с самим Шкляревским буду разговаривать...», «тот, который гениальные стихи написал», «самый удачливый игрок среди великих поэтов». Он сказал, что ему нельзя это так напрямую слушать, а мне, значит, и говорить напрямую нельзя. Но мы прощали друг другу и откровенную лесть, и самолюбование, и смеялись как раз потому, что знали, как всё это называется.

Рассказывает, например, как он любит одиночество, как старается не пускать к себе никого чужого, никого лишнего и при этом никогда не скушает, не тяготеет собой. Я спрашиваю: а почему вы говорите, что вам не с кем поговорить, что не у кого спросить о рыбалке, о грибах? Вам же никто не нужен! Он будто даже с каким-то вызовом отвечает: «Но я же хочу говорить только с теми, кто мне симпатичен!» И моя физиономия, целый час выражающая трепетное внимание к его голосу, расплывается в самодовольной улыбке...

При этом я раза два ухитрилась не на шутку разозлить его, отвечая невпопад. Он впал в раздражение, чувствовалось по голосу. Но потом вдруг стих и размягчился. Ласково говорит: «Милая Марина, если бы вы знали, как мало искренности вокруг... я привык раздражаться, настаивать на своём, потому что иначе нельзя... иначе сомнут... Меня столько людей ненавидят... А за что? Вы знаете, почему вам не отвечает Михась Скобла? А скажу. Он очень зол на меня. Я с ним сегодня разговаривал. Я звонил в Минск. Он не может сдерживать раздражение. А тут ещё вы... Но я такой! Со мной трудно, но я не буду другим! Я его понимаю, ему надо делать книгу... Но я же писал свою прозу белых ночей и пустых горизонтов! Я же не мог по-другому...»

А когда я ему рассказала, как Никита Михалков приезжал к нам в иконописную школу, как ему у нас понравилось, он тоже в ответ рассказал, что Никита Сергеевич долго жил этажом выше и они дружили семьями, пока оба не развелись с жёнами и не рассорились из-за одной неопубликованной статьи. Я похвастала, что Михалков подарил школе поездку в Третьяковку, а затем и в Феррапонтово, где фрески Дионисия. Рассказала, как по дороге мы заезжали во все монастыри, в том числе в Кирилло-Белозерский, что мне особенно запомнилось.

– Да, Никита Сергеевич тогда мог это себе позволить... – задумчиво произнёс Шкляревский. – Он оплатил автобус?

– Целых два. Все смогли поехать.

Игорь Иванович был покорён, когда рассказала ему, как Андрей Чернов восхитился текстом моего акафиста Андрею Рублёву.

– Андрей? Чернов? Да что вы!? Я же ему благодарен за мой перевод «Слова о полку...»! Он свой перевод так написал, что у меня не было выбора... Это невозможно было стерпеть...

– Он брал интервью у академика Лихачёва! Он же историк древнерусского искусства!

– Ну да... А перевод плохой сделал... Я когда прочитал, тут и подумал: надо немедленно писать свой. Я к Дмитрию Сергеевичу пришёл с готовым переводом... Принёс и сказал: почитайте, а я пока погуляю. Потом вы мне скажете, что это такое. И через сорок минут я вернулся, а он уже ждал меня... Обнимал восторженно... Волновался... О! Это незабываемые минуты... Милая Марина, если бы вы знали, какие это высокие минуты жизни...

Я описывала ему окрестности, доступные взгляду, оттенки синевы неба над головой, пыталась рассмотреть для него даже солнечный диск в зените, но только ослепла на несколько минут и смогла описать лишь звуки ветра, который он назвал солнечным. Уточнил, что это в переносном смысле, потому что настоящий солнечный ветер – это другое. Объяснил, что ветер при ярком солнце вызывает чувство тревоги, печали и даже уныния. Заодно рассказал о разных ветрах. А мне было грустно, потому что я знала, что наши беседы скоро закончатся. И я загадала, что обязательно напишу что-нибудь о наших разговорах и назову это «Солнечный ветер». Игорю Ивановичу понравилось название, он даже посоветовал ознакомиться с книгой одного автора, который подробно описывает свойства всех известных ветров. Сейчас уже не помню его имя.

Шкляревский вспоминает нужные книги и имена с ходу, не затрудняясь, и я в который раз изумляюсь его великолепной памяти.

...А когда я пожаловалась, что совсем не заметила лета, просидев ночи за компьютером, он прочитал мне стихи.

*Хвалят – стыдно, не хвалят – обидно.*

*Я живу одиноко, светло.*

*Летом жарко, а осенью жалко,  
что весёлое лето прошло.*

И утешил тем, что лето на самом деле было прекрасным, потому что я писала. Потому что это самое прекрасное занятие на земле – писать! Так сказал Игорь Шкляревский.

Может, ему новый телефон кто-то подарил? У него сегодня не садилась батарейка, не исчерпывался баланс... И разговор не оборвался на полуслове, как иногда бывало, когда прерывалась связь, а завершился дружеским прощанием. Едва я нажала кнопку «отбой», проснулась мама и позвала.

Как-то обронил загадочную фразу во время нашего разговора ветреным днём: «Ветры высокоструйные переносят всё что угодно...» Вроде бы мы говорили о всяких необычных явлениях, связанных со свойствами ветра, но у него это прозвучало чуть более многозначительно, чем предыдущие слова...

А ещё он говорил:

«Меня притягивают пустынные места, потому что там я чувствую себя человеком, который заново начинает жизнь... Потому я назвал свою книгу «Книгой белых ночей и пустых горизонтов»... Бесконечность... как тупик моих раздумий... Как безлюдье, где можно начать всё сначала...»

Мне показалось, тут есть у него противоречие. Он любит пустынное уединение, а как же ему удалось так полюбить рулетку?.. Ведь это всё время быть в гуще людей...

Рассказывал о ней с иронией и вдохновением:

– Мне стало неинтересно ходить на заседания... на вручения сомнительных премий... Когда возникло это новое чувство, состояние, я вошёл в эту извилистую реку прозы... «Золотая блесна»... Я от всего отказался... Но, правда, у меня было увлечение сильное... Очень сильное... Я играл... Я стал играть. Но куда денешься... Державин играл. Крылов играл. Пушкин... Некрасов? – Возвращался к утру из Английского клуба! Вечером в медвежью шкуру – и в Английский клуб! Толстого не оттянуть было от рулетки! Игра научила меня зарабатывать. Хотя и отнимала гонорары. Казино «Европа»... У меня вышли книги об игре, безымянные... Игра – это великий доктор! Зарабатываешь месяц, проигрываешь за два дня...

– А почему великий доктор? – не стерпела и вклинулась в его монолог.

– У меня перестало болеть тело! Точка в сознании будто сместилась... Крутилось колесо рулетки, сгорали раковые клетки... В игру соваться нельзя, если ты не личность... Она сомнёт!.. Никогда не переживал о проигрыше... Спал как младенец...

О «Золотой блесне»:

– Я отпустил руку, и это стало записываться... Это было в девяностые годы... Какими синими были далёкие озёра...

Звонок Игоря Ивановича застал по дороге домой, когда вышла из маршрутки. И все пятнадцать минут, пока топала по переулкам до дома, он со мной спорил, что в славянском алфавите со-

рок три буквы. Эх, говорит, дипломированный специалист, а не знаете... Он сам забыл уже, что это в древнем языке столько было, а в нынешнем церковнославянском, который я преподаю, всего сорок букв. Подошла к калитке и неловко прижимаю телефон плечом к уху: – Я уже пришла, ключи достаю...

– Привет коту! – весело отвечает Игорь Иванович, наслышанный о составе моей семьи. – А зовут его как?

– Так Снежоча же... Снежка.

– Он серебристо-белый, с подпалинами?

– Не угадали! Чернее ночи... Приблудный...

– Гениально! – смеётся Игорь Иванович. – Гениально! И как я сразу не догадался!

Игорь Иванович любит животных как-то очень трепетно и строго.

Однажды с утра звонит и с ходу, не здороваясь, спрашивает: «У вас вещи из меха есть?» Я, уже ничему не удивляясь, отвечаю: «Да, шубка из норки, короткая...» Обронив утешительное: «я всего два слова», он полчаса приводит мне подробно в цифрах устрашающую статистику истребления лисиц и койотов, так что я понимаю: лучше замёрзнуть, но шубу больше не надевать...

А в другой раз по поводу празднования Восьмого марта, имея в виду заботы мужчин о меховых подарках своим любимым, высказался так: это Варфоломеевская ночь зверей...

Сетуя на дурное здоровье, Игорь Иванович как-то признался:

– Я надеюсь, мне скажут врачи: «Глаукома побеждена!» И я увижу зелёную траву, трещины в асфальте, сухой листок в трещине, козявку, что там затаилась...

И потом:

– Вот, я хотел прочесть... Открыл журнал «Знамя»... ну, я по памяти иногда прочитываю... Мне нравится эпизод в тамбуре... Я захожу в пустое купе... и озеро в окне... Я исчезаю между ними и становлюсь свидетелем своего отсутствия... В «Золотой блесне» много таких состояний... Это для особого какого-то слуха и чтения... Ладно... Эх, эх, эх... Иду песчаной полосой отлива... Да, я такой... Иду песчаной полосой отлива... Мне хочется пойти по золотой косе... Но... иду на плеск, но чувствую, что появился страх... Шумит порог и возникает... Мариночка, милая, уже совсем темно, мне надо ещё дойти до аптеки...

Конец сентября. Мы приехали на рыбалку за



сто десять километров от города, только что прошёл дождь, но щука не берётся... Игорь Иванович сообщает мне секреты рыбацкого успеха. Но здесь они не работают, река иная, берега илистые, поросшие тростником, а он рассказывает, как надо бросать блесну на песчаный берег и оттуда резко сдёргивать её в воду. Щука рыбака не видит, потому сразу берётся... Все эти сто с лишним километров, пока ехали мы до места рыбалки, он рассказывал о реках Русского Севера, где часто рыбачил и даже стал легендой. Инспекторы рыбнадзора узнавали поэта издали и любовались, как ловко он вываживал за минуты крупного лосося там, где другим не удавалось поймать его и за целый день. Постоянно цитировал свою «Золотую блесну», которую, кажется, помнит наизусть. Он звонил раза три на неделе, но мне не хотелось ни с кем разговаривать... Он почувствовал это и замолчал. А сегодня, как только за город выехали, я сразу набрала его, он обрадовался, говорит: вот, портретом вашим люблюсь в газете, мужу вашему завидую. Это он комплименты так иногда делает. Проговорили с ним всю дорогу. И уже попрощались, и уже на берег Сейма мы приехали, как он вдруг снова звонит и деловито разъясняет, какую блесну сегодня уместно прицепить к поводку, и чтоб поводок нетолстый, потому что вода прозрачная осенью, щука всё видит. И потом грустно: – Ну вот, будто я тоже с вами на рыбалке...

Вдруг начал давать советы, о ком мне надо бы написать. О Бондаренко, он обойдён вниманием, потому что его не понимают, его боятся. Он имел в виду книгу его о Бродском, которая многих удивила. Пришлось его огорчить: и о Бондаренко на сайте ДЛ написано, и на книгу его о Бродском две рецензии. Тут он совсем сник:

– Надо же, везде порыбачили! А я думал, уловистые места для вас нашёл...

А вчера Игорь Иванович сильно рассердился на меня. Ещё одну грандиозную идею придумал. Пророчит мне всемирную славу, неописуемый успех. Не успеваю запоминать его идеи, так что вчера сказала, что он напоминает мне Остапа Бендера. Зря я это сделала... Он уже обиделся было, грозным голосом сказал, что ему такое говорить нельзя, что это оскорбление, но я успела вставить словечко в своё оправдание, что имела в виду его искрящийся авантюризм. Кажется, пронесло... Уже более мягким голосом, но всё ещё

строго, или, может, чуть-чуть устало, Игорь Иванович произнёс:

– Это не авантюризм... Вы просто не понимаете... Это может круто развернуть вашу жизнь...

Только не спросил он, а хочу ли я её круто разворачивать.

Перерыв был почти два месяца. Видимо, он всё-таки обиделся на «Остапа Бендера». Сегодня вдруг позвонил. Утром я благополучно съездила на службу, предварительно откопав машину из сугроба и почистив снег у ворот. Уже после обеда, когда заморосил на улице дождь, побежала в сад – стряхивать снег с деревьев, иначе ветви поломаются под тяжестью набрякшей массы. Через полчаса моих усердных манипуляций с метлой вокруг любимых хвойников в кармане заверещал мобильник. Шкляревский начал разговор, как всегда, без всяких предварительных приветствий, таким непринуждённым тоном, будто вчера только мы прервали наше общение:

– Как поживает замечательная Марина Маслова, что нового в Курске? Я тут беседовал с Зоей Межировой, и она сказала, что читала в газете вашу статью. Это где, подскажите.

Едва дождавшись паузы в его вступительной речи, попыталась было выразить свою радость вновь слышать его голос, а заодно и объяснить, почему не звонила сама, хотя и боялась, что он на меня обиделся, но он нетерпеливо перебил:

– Да что вы, разве я мог обидеться, это невозможно, на глупости не обижаются.

Мне стало весело, что он так ловко всё развернул. Улыбалась, держа трубку у правого уха, а левой рукой пыталась сдвинуть набок кроличью ушанку, чтоб не мешала внимать слову поэта. Что именно могла прочесть Зоя Межирова, я ответить ему не смогла, потому как даже не представляла, кто и когда мог бы меня напечатать и чтоб я об этом ничего не знала. Уточнила, что это, может быть, ещё летняя моя статья в газете «День литературы». Он запротестовал: нет, нет, это про перевод «Песни о зубре». Показалось, Игорь Иванович просто придумал этот предлог для звонка, соскучившись по нашим незатейливым разговорам. Спросил, какая в Курске погода, и я с воодушевлением стала жаловаться, что у нас оттепель, а вчера был большой снегопад, и теперь я вынуждена ходить по саду с метлой, как некрасовский Мороз-воевода «дозором», чтоб отряхнуть с ветвей тяжёлые снежные шапки. И как это уже бывало, Игорь Иванович в ответ на мою жалобу

вспомнил давнюю историю из своей жизни, заключительный эпизод которой должен был утешить меня и «вразумить». В этот раз он рассказал о своём брате. Готовясь слушать долго, я бросила метлу в сугробе, стряхнула с рук размякшие кожаные перчатки и перебралась в беседку, чтоб не мокнуть под дождём. Игорь Иванович рассказал, как брат его в детстве лежал в больнице.

Он чем-то болел, но таял на глазах не от болезни, а от уныния. Отказывался есть, разучился улыбаться. Тогда Игорь понял, что его надо спасать. Мать не знала, чем тут помочь, а Игорь подошёл к брату, лежавшему лицом к стене, и требовательно спросил:

– У тебя есть мечта?

Тот развернулся к нему лицом и жалобно произнёс:

– Да...

– Какая?

– Фотоаппарат... «Смена»...

Игорь Иванович объяснил мне, что жили они тогда бедно, на одну учительскую зарплату матери, а фотоаппарат по советским деньгам стоил немало, четырнадцать рублей. Но Игорь твёрдо пообещал брату:

– Твоя мечта сбудется. Только ты должен есть. Обещаешь?

– Обещаю.

Олег вскоре поправился. Однажды Игорь принёс ему новенький фотоаппарат. В поисках инте-

ресных снимков Олег забрёл как-то на старинное кладбище. А потом позвал туда брата:

– Пойдём, покажу тебе кое-что удивительное.

И вот там Игорь Иванович увидел то, ради чего, собственно, и рассказывал мне всю эту историю.

Рядом с одной могилой была посажена яблоня. Постепенно вырастая, она зацепила ветвями каменный крест надгробия. И так упрямы и сильны были её ветви, что преодолели сопротивление камня, вырвав крест из земли. И теперь он висел на ветвях дерева. Игорь Иванович сказал, что зрелище это было ошеломляющее. И добавил, что я напрасно беспокоюсь о своих деревьях, они сами сильны стряхнуть тот снег, что придавил их своей тяжестью. Напоследок он сказал ещё несколько ободряющих слов, желая успехов, и поторопил:

– Бросайте свою метлу, отправляйтесь-ка лучше писать статьи, у вас это получается. А деревья свои оставьте наедине со снегом. Поверьте, они сами справятся с ним...

После этого, как оказалось, прощального наставления он больше не звонил.

2020 г.

□

### **Марина Ивановна МАСЛОВА**

*родилась в 1970 году в селе Покровское Курской области.*

*Окончила Курский педагогический институт.*

*Кандидат филологических наук,*

*литературовед, литературный критик.*

*Печаталась в газетах «День литературы», «Российский писатель»,*

*в журналах «Русская литература», «Дальний Восток»,*

*«Бельские просторы», «Берега», «Подъём», «Двина» и др.*

*Автор нескольких книг о творчестве русских писателей.*

*Лауреат премии изданий «День литературы» (2018),*

*«Российский писатель» (2015, 2019),*

*региональной премии «Дорога к дому» (2016).*

*Лауреат премии им. Е.И. Носова (2020).*

*Член Союза писателей России.*

*Живёт в Курске.*

*В журнале «Север» публикуется впервые.*

